

А.И. ИВАНИЦКИЙ
(Москва)

**«ВСЕМУ ПОРА, ВСЕМУ
СВОЙ МИГ...»: О СМЫСЛЕ
РАСЧИСЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫХ
ПЕРИОДОВ В ЛИРИКЕ ПУШКИНА**

Мотив цикличности жизни обозначил переход от лицейского периода лирики Пушкина к петербургскому. Он отразил видение поэтом историзма своей жизни и обусловленной им диалектики души. Деяние всегда сопряжено с предчувствием, воспоминанием и [или] забвением. Играющие роль катарсиса, они не только наследуют деяние во времени, но в каждую возрастную пору пронизывают его.

Ключевые слова: *элегическое послание; историзм смены возрастов; пресыщение как катарсис; воспоминание как катарсис.*

Цикличность жизни, ставшая устойчивым мотивом лирики Пушкина на рубеже 1810–1820-х гг., рассматривалась пушкинистами в основном в контексте эволюции его элегии*. Между тем этот мотив, обозначивший водораздел лицейской и петербургской жизни Пушкина, интересен и в сугубо смысловом отношении.

Утверждая в послании «К Каверину» (1817): «Смешон и ветреный старик, / Смешон и юноша степенный...» [8, с. 235]**, поэт в «Стансах [Из Вольтера]» того же 1817 г. применяет это правило к себе: «...Из круга смехов и харит / Уж время... / ...за руку меня выводит. / Пред ним смириться должно нам...» (с. 245). Ср. в «Стансах Толстому» (1819): «Зевес... / Всем возрастам дает игрушки... / Над сединой не гремят / Безумства резвые гремушки...» (с. 367).

Эта мысль отчетливо противостоит лицейской анакреонтике поэта, где жизнь объявляется скоротечным «мигом», который поэту нужно всецело посвятить наслаждениям: «Миг блаженства век лови» (с. 54); «...пока-

* См., напр.: [2; 9, с. 195–203]; В.Э. Вацура. Лирика пушкинской поры. «Элегическая школа». СПб., 1994. Среди наиболее принципиальных работ последних лет на эту тему см.: [1, с. 197–259].

** Далее по тексту статьи ссылки на страницы этого издания даны в круглых скобках.

мест жизни нить / Старой Паркой там прядется... / ...Веселиться – мой закон» (с. 50–51); «...Веселье! Будь до гроба / Сопутник верный наш...» (с. 118–119); «Мы... утратим юность нашу / Вместе с жизнью дорогой» (с. 318); «Смертный, век твой привиденье, / Счастье резвое лови...» (с. 167).

Теперь же мгновенность жизни раздваивается: «Живем мы в мире два мгновенья – / Одно рассудку отдадим...» (с. 245); «Всему пора, всему свой миг...» (с. 235). Эпикурейское «мгновенье» – юность, которую и нужно использовать сполна: «Мгновенью жизни будь послушен, / Будь молод в младости твоей!» (с. 367); «Пока живется нам, живи» (с. 235).

Этот сдвиг, углубляющийся в последующей зрелой лирике Пушкина, примечателен в двух отношениях: во-первых, на фоне остающейся неизменной поведенческой парадигмы лирического героя, краеугольными камнями которой остаются все те же пир, любовь и поэзия; а во-вторых, начинающегося в лицее размежевания исторических эпох, которые совпадают с различными возрастными поэты, наделяя их своим содержанием.

Уже в лицее юный Пушкин замыкает периоды своей жизни на определенных топосах: жизненный путь предстает таковым в буквальном, пространственном значении. В одном из первых посланий, «К сестре» (1814), лицей предстает «монастырем», «темницей» героя, т.е. неким перерывом эпикурейской жизни. А скорое окончание лицейского и возвращение «в пышный Петроград» означает ее возобновление: «...падут затворы, / ...оставлю темну келью, / ...Под стол клубок с веригой – / И прилечу расстригой / В объятия твои» (с. 38–41).

Но в том же 1814 г. Царское Село и лицей осознаются поэтом как «Элизиум полночный» и локус золотого века империи, «где мирны дни вели земные боги» (с. 75). Они не прерывают эпикурейскую жизнь героя, а составляют ее суть. Возврат же в Петербург сменит поэтическую компоненту этой жизни на военную. Пушкин весело предвкушает, что «...близок грозный час, / Когда, послыша славы глас, / ...Надену узкие рейтузы, / Завью в колечки гордый ус, / Заблещет пара эпюлетов, /

И я – питомец важных Муз – / В числе воющих корнетов!...» (с. 121 – 122).

«Забавы» с «Вакхом молодым», сужденные лицеистам на весь «остальной век», неотделимы от «волшебницы-славы» (с. 120), т.е. перехода в большой (столичный) мир. В послании «К Дельвигу» (1815) эпикурейская парадигма мягко иерархизируется: лицейскую поэтическую лень беспечного «неги сына» «в объятиях Морфея» сменяет столичные литературные «заботы», чья благотворность относительна и недостоверна, хотя и предвкушается так же весело, как и военное поприще. Золотой век сменяется Серебряным: «...А там хоть нет охоты, / Но придут уж заботы / ...И буду принужден / С журналами сражаться, / С газетой торговаться... / Помилуй, Аполлон!» (с. 142).

А в выпускном послании «Товарищам» (1817) грядущая взрослая (столичная) жизнь связывается с суетным карьеризмом адресатов и противопоставляется лицейскому золотому веку в качестве не Серебряного, а «железного»: «...Иной, под кивер спрятав ум, / ... Красиво мерзнет на параде, / ... Другой... / Не честь, а почести любя, / У плута знатного в прихожей / Покорным плутом зрит себя...» (с. 254).

«Негатив» Петербурга тут близко соотносен с «железным веком» империи, иносказательно изображенным в ролевом послании «Лицинию» (1815). Исторический упадок Рима, под которым прозрачно подразумевается Петербург, описан практически так же, как столичное будущее «Товарищ[ей]»: «...бесстыдный Клит, слуга вельмож Корнелий / Торгуют подлостью... / От знатных к богачам ползут из дома в дом...» Отсюда призыв адресату «...С развратным городом ...проститься, / ...В деревню пренес[ти] отеческие лары...» (с. 109 – 110) означает изъять себя из катастрофической истории. В этом контексте иссушающее душу взросление связывается с историческим закатом империи. Себя же поэт опять-таки изымает из необратимого жизненного и исторического времени, и после лица оставаясь «счастливой лени верн[ым] сын[ом]»: «Не рвусь я грудью в капитаны / И не ползу в ассессора; / ... Пока ленивому возможно... / В июне распахнуть жилет» (с. 254, 256).

Однако уже в лицее смена жизненных циклов и возрастов предполагает смену мировосприятия. Сначала – в русле байронизма, варьирующего мотив разочарования в жизни. В начале байронизм служит шутливой маской анакреонтики. В «Опытности» (1814) разочарование в любви «Кто с минуту переможет / Хлад-

ным разумом любовь...» развенчивается пожизненной дружбой с юным Эротом: «...покамест жизни нить / Старой Паркой там прядется, / Пусть владеет мною он...» (с. 50 – 51). «Фиал Анакреона» (1816) также перемещает любовный опыт в прошлое, но не в противовес эпикурейскому настоящему, а в утверждение его. Герой отказывается помочь Амуру достать из винного кубка упавший туда колчан: память о несчастной любви навсегда топится в вине. «Измены» (1815) вышучивают «незабвенность» несчастной любви в объятиях «Хлой» и «Темир»: «...Тщетны измены! / Образ Елены / В сердце пылал! / ...Бедный певец! / ... не встречает / Мукам конец... / ...до могилы / Грустен, унылый, / ... Цепи влачи...» (с. 108).

Однако в «Элегии» следующего, 1816 г., та же «незабвенность» звучит уже драматически: «...Минуту я заснул в неверной тишине, / Но ...любовь таилась во мне, / ... Любовь, отравив наших дней, / Беги с толпой обманчивых мечтаний. / ...отдай мне мой покой...» (с. 217 – 218).

Жизненные радости опять-таки связываются юностью, но в русле байронизма оказываются «обманчивым мечтаньем». Вместе с юностью они и рассеиваются, но не забываются: «...Безумный сон покинул томны вежды, / Но мрачные я грезы не забыл...» (с. 250). А зрелость знаменует мрачное отрезвление и охлаждение к жизни: «...Поверь, мой друг, она придет, / Пора унылых сожалений, / Холодной истины забот / И бесполезных размышлений...» (с. 367).

Вырастая из рокайльной игры, байронизм оказывается своеобразной программой будущего расчисления жизненных возрастов*. Между тем в «Элегии» 1817 г. герой не разочаровывается в юношеских иллюзиях, а меняется с возрастом: «...Уж я не тот... Невидимой стезей / Ушла пора веселости беспечной...» (с. 236). Дальнейшей, разрушительной эволюцией души явится старость – время «без желаний»: «Желаньям чувства изменят, / Сердца иссохнут и остынут...» (с. 349). Отказ в зрелые годы от пиров и любовных утех юности означает не разочарование в них и не пресыщение, а внутреннее развитие – в том числе под влиянием необратимых перемен большого мира: «Вращается весь мир вокруг человека, – / Ужель один недвижим будет он [3. с. 381].

* О байронических реминисценциях лирики Пушкина 1810-х гг. см.: [4, с. 92 – 113; 144 – 160].

Природу внутреннего развития отчасти обнаруживает новая роль *воспоминаний* об ушедшей юности: на рубеже десятилетий они из «мучительных» делаются отрадными. Предвидимая среди дней юности «...С Амуром, шалостями, вином» неизбежная старость обещает «...Отраду... / В туманном сне воспоминаний» (с. 350; курсив А.С. Пушкина. – А.И.). Старость, таким образом, не перечеркивает эпикурейскую юность, а продолжает ее в новом качестве. В отрывке 1821 г. воспоминание компенсирует своей длительностью краткость «дней весны», которые «скоро утекли» «В беспечных радостях, в живом очарованье...» – «Теките медленней в моем воспоминанье» [2, с. 96]*.

Однако на рубеже 1810 – 1820-х гг. память о юношеских радостях уже не отделяется в зрелые годы, а соединяется с самой юностью. Так, в элегическом послании «Нет, не напрасны ваши песни...» (1819) эпикуреец мысленно соотносит нынешние «восторги» с «минувшими» до полного «самозабвения» в последних: «...чаша жизни ... / Еще для нас ... полна...; /...Мы пьем восторги и любовь, /...Но память ищет оживляться, / Но сердце... / В минувшем любит забваться» (с. 378)**.

В «Сцене из Фауста» (1825) столь же неотъемлемой частью юношеских наслаждений объявляются «пресыщение» и «скука». Мефистофель напоминает Фаусту: «...Когда красавица твоя [Гретхен] / Была в восторге, в упоенье, / Ты беспокойною душой / Уж погружался в размышленье /... “Что ж грудь моя теперь полна / Тоской и скукой... / На жертву прихоти моей / Гляжу, упившись наслажденьем, / С неодолимым отвращеньем...“» [2, с. 289].

Рождаемые «рассужденье» «скука» и «пресыщение» выступают «покоем» и «отдохновением души», т.е. катарсисом, открывающим дорогу к новым жизненным радостям.

В строфе «Если жизнь тебя обманет...» (1825) «мгновенной» объявляется не только юность, как в байронической лирике, и не жизнь в целом, как в анакреонтике, а каждая жизненная пора и внушаемые ею чувства: «Все мгновенно, все пройдет». Воспоминания же не столько сохраняют сладостное прошлое, сколько *делают* его таковым: «...Настоящее уныло... / Что

пройдет, то будет мило» [2, с. 273]. И Фауст вспоминает Гретхен как «сон чудесный» и «пламя чистое любви», на что Мефисто замечает, что Фауст «...бреди[т] наяву» и «Услужливым воспоминаньем / Себя обманывае[т]...» (Там же, с. 288).

Это усложняет роль *пира* – синтеза жизненных радостей и его универсальной метафоры [ср. питье «восторгов и любви» из «чаша жизни»]. В элегии «Друзьям» (1822) «Вакха буйный пир» не изымает пирующих из времени, как в анакреонтике, а, наоборот, посвящен «разлуке шумной». Под влиянием вина поэт вспоминает юношеские иллюзии и разочарования [«...горе жизни быстротечной / И сны любви...»]. И тем же вином облегчает «байроническую» горечь этих воспоминаний, превращая ее в сладость: «... Меня смешила их измена: / И скорбь исчезла предо мной, / Как исчезает в чашах пена / Под зашипевшую струей» (Там же, с. 100 – 101).

Обозначенное в «Фиале Анакреона» преодоление вином «горьких» любовных воспоминаний становится катарсисом необратимых жизненных смен.

В поздней «Элегии» 1830 г. «пиршественная» природа воспоминания о «безумных лет угасше[м] веселье» становится двойной. Оно и «...тяжело, как ...похмелье...», и подобно вину, которое «чем старе, тем сильнее», т.е. и гнетет, и живит. Зрелость отчетливо соответствует «железному веку», суля «труд и горе», «заботы и треволненья». С одной стороны, она обещает автору те же «наслажденья», что и минувшая юность: любовь, поэтическую «гармонию» и беллетристический «вымысел», с другой – наслаждаться зрелыми годами – значит «мыслить и страдать» [3, с. 179], в том числе от «печали давно минувших дней». Зрелая жизнь желанна как подобием юности, так и «сладостно-горькими» воспоминаниями о ней.

«Телега жизни» (1823) – вольное переложение басни французского поэта XVIII в. Флориана превращает смену возрастных мировосприятий в дневное путешествие в социальном пространстве России. Жизненную колесницу заменяет крестьянская телега, а в роли «седого времени» выступает лихой ямщик***: «С утра садимся мы в телегу; / Мы рады голову сломать / И, презирая лень и негу, / Кричим: пошел!.. / Но в полдень нет уж той отваги; / По-

* См. интересную попытку суммирования значений и ролей памяти в лирике Пушкина в [11, р. 1 – 14].

** О функциональном «взаимоналожении» памяти и забвения в лирике Пушкина см., в частности: [10, р. 27 – 41].

*** См.: [3, с. 215 – 219].

растрясло нас; нам страшней / И косогоры, и овраги; / Кричим: полегче, дуралей! / ...Под вечер мы привыкли к ней / И дремля едем до ночлега...» [2, с. 160].

В то же время «милым пределом» [3, с. 134] жизненной дороги выступает «родное пепелище». Сопредельное «отеческим гробам» (Там же, с. 214), оно вбирает в себя значение «ночлега» – погоста*. Ср. элегии «Брожу ли я среди улиц шумных...» (1829), «Когда за городом, задумчив, я брожу...» (1836). Это высвечивает фольклорно-поэтический пласт в пушкинской топике жизни как дороги, оканчивающейся домом-«погостом». Так, смерть символизировалась дорогой в русском погребальном обряде**. Фольклорная образность, видимо и лежит в основе «социальной» узнаваемости дороги в «Телеге жизни».

В «Осени» же (1833) «милый предел» предстает узлом природного круговорота, который, в отличие от жизненных возрастов, делает смену душевных состояний обратимой. Весна, когда «...Кровь бродит, / Чувства, ум тоскою стеснены...», знаменует бурные телесные желания юности, не вполне управляемые, осознаваемые и осуществимые, а потому грозящие затопить героя. «Лето красное», которое, «...все душевные способности губя, / Нас мучит[т]...» – время телесного пресыщения. «Суровая зима» и ее «легкий бег саней», катание на коньках, «зимних праздников блестящие тревоги» приносит своего рода «деятельное охлаждение», т.е. «отдохновение души». Наконец, осень, с одной стороны, «унылая пора... / природы увядань[я]», а с другой – «...с каждой осенью я расцветаю вновь; / ...К привычкам бытия вновь чувствую любовь... / Желания кипят – я снова счастлив, молод, / Я снова жизни полн...».

Гармонизация противоположных начал природы и человеческой души делает осень временем, когда в авторе «пробуждается по-

эзия...», соединяющая упоение жизнью и катарсис [3, с. 262 – 265].

Как видим, цикличность жизни в лирике Пушкина отражает диалектику души, где эпикурейское деяние всегда сопряжено с предчувствием, воспоминанием и [или] забвением. Играя роль катарсиса, те не только наследуют деяние во времени, но в каждую возрастную пору пронизывают это деяние, все сложнее переплетаясь с ним.

Литература

1. Бочаров С.Г. Праздник жизни и путь жизни. Сотый май и тридцать лет. Кубок жизни и клейкие листочки // Русские пиры. СПб., 1998.
2. Грехнев В.А. Жанровый объект и лирический субъект в элегиях Пушкина // Болдинские чтения. Горький, 1982. Вып. 7.
3. Донская С.Л. К истории стихотворения Пушкина «Телега жизни» // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1974. Т. VII.
4. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978.
5. Зоркая Н.М. Мотив «смирненного кладбища» в произведениях Пушкина и Чехова // Чеховиана: Чехов и Пушкин. М., 1998. С. 162 – 174.
6. Невская Л.Г. Символика дороги и смежных представлений в погребальном обряде // Структура текста. М., 1980. С. 210 – 233.
7. Новичкова Т.А. Пир в кабаке. Эволюция одного поэтического канона // Русская литература и культура Нового Времени. СПб., 1994.
8. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М. – Л., 1949. Т. 1.
9. Сидяков Л.С. Пушкин и Жуковский: у истоков биографизма пушкинской лирики // Изв. Акад. наук. Сер. лит. и яз. 1984. Май – июнь. С. 195 – 203.
10. Liapunov V. Mnemosyne and Lethe: Puskin's 'Vospominanie' // Alexander Puskin: A Symposium on the 175th Anniversary of His Birth. NYU Slavic Papers. I. N. Y., 1976.
11. Naydan M.M. Puskin's Lyric Memory // Slavic and East European Journal. 1984.

«*Всему пора, всему свой муз...*» about the point of life period division in Pushkin's lyrics

The motive of life cyclicity marked the transition from lyceum to Petersburg periods of Pushkin's lyrics. It reflected the poet's vision of his life's historicism and the dialectics of soul. The deed is always associated with premonition, reminiscence and [or] oblivion. Playing the role of catharsis they not only inherit time deed but at every age time run through it.

Key words: *elegiac epistle, age change historicism, satiety as catharsis, reminiscence as catharsis.*

* Об этих и смежных с ними значениях «отеческих гробов» в лирике Пушкина см.: [5, с. 162 – 174].

** См.: [5, с. 229 и след.]. В свою очередь, в «Бесах» (1830) фольклорная семантика жизненной дороги у Пушкина прочитывается как инициационная, посвятельная. Бесы не только преследуют и морочат путника – «круж[а]т по сторонам», но в конце проложенного ими для него «альтернативного» бурного пути, рожают в нем тоску, «Визгом жалобным и воем // Надрыва сердце...» [3, с. 177, 178]. Герой переживает свой жизненный путь в связи с его предвечным, «загробным» первоисточником. В фольклоре бесами зачастую предстают души усопших предков – см.: [7, с. 214].